

И вот теперь передо мной не просто слабый раствор зла, какой можно добыть из каждого человека, а зло крепчайшей силы, без примеси, громадный сосуд, полный до горла и запечатанный.

*Владимир Набоков.
«Истребление тиранов»*

Глава первая

Теплой сентябрьской ночью белый «Форд» свернул с проспекта Мира в один из тихих переулков неподалеку от Третьей Мещанской улицы. Из приоткрытых окон машины оглушительно орала эстрадная музыка. Встречные огни высветили на миг силуэт молодой женщины за рулем. Сидевшего рядом мужчину не было видно, он почти лежал, раскинувшись на мягком сиденье. Голова его то и дело падала женщине на плечо. Он громко, фальшивым тенорком подпевал развеселому шлягеру.

— Глеб, прекрати, — поморщилась женщина и выключила магнитофон.

— А я говорю — будет музыка! — Мужчина икнул и нажал кнопку.

Шлягер зазвучал на весь переулок.

— Ты мог не напиваться хотя бы в честь моей премьеры? — Женщина оторвала руку от руля и легонько хлопнула мужчину по лбу. — Ты заснул в первом акте. Это было видно со сцены. Ты спал и даже храпел.

— Грязная клевета. Я вообще не храплю! Никогда. А во втором акте я не спал, я выражал восторг! — Он опять икнул.

— Правильно, — кивнула женщина, — в буфете. Ты выражал свой восторг в буфете так громко, что это было слышно в зале и на сцене.

— Ну подумаешь, вышел коньячку выпить. С тарталеткой. Имею право. Ты у нас звезда-премьерша, гений русского балета. А я так, тихий супруг при звезде, купец-меценат. Между прочим, я там кое-кого видел, в буфете. Ох, Катька, кого я там видел!.. — Глеб Калашников выпятил мокрые губы и трижды противно причмокнул.

— И кого же? — равнодушно спросила Катя.

— Этого твоего, придурка-поклонника. Я потому и нашумел, что надоело мне. Достал он меня, я ему так прямо и сказал: ты, говорю, меня достал... — Глеб смачно выругался и опять икнул.

Катя ничего не ответила, она высматривала место для парковки в огромном темном дворе, заставленном иномарками. Она очень устала, ей было лень загонять машину в крытый гараж.

— Слышь, премьерша, ты что, собираешься все эти веники домой тащить? — Глеб кивнул на заднее сиденье, заваленное цветами. — Они та-ак воняют, я от них чихаю.

— Ты бы вышел, помог мне вписаться, — попросила Катя, — не видно ничего.

— Счас сделаем, — важно кивнул Глеб, — вылезай, премьерша, я сам буду парковаться, ты не умеешь.

— Ладно уж, сиди.

Катя аккуратно припарковала машину у кромки тротуара. Она взглянула на темные окна квартиры и удивилась. Всего минутоу назад, въезжая во двор, она заметила, что горит свет в гостиной. А теперь стало темно. Неужели Жанночка осталась ночевать и все-таки решила приготовить праздничный ужин? Услышала, как подъехала машина, погасила свет, сидит и ждет в темноте, с таинственным видом, хочет, чтобы вспыхнули свечи на накрытом столе, когда они с Глебом войдут в квартиру. Однако праздника не получится. Глеб пьян в дым, начнет материться, икать, рыгать, говорить пошлости, Жанночка обидится, уйдет плакать, как всегда.

Дома никакого застолья не предполагалось. Катя долго уговаривала Жанночку бросить домашние дела и поехать с ними на премьеру. Но домработница пожаловалась на головную боль и осталась дома.

После премьеры в театре был долгий обильный фуршет. Там, фланируя среди блейзеров, малиновых пиджаков, голых надушенных плеч, Глеб Калашников запивал коньяк шампанским, кормил с ложки черной икрой молоденьких танцовщиц кордебалета, громко и матерно приглашал их подработать в своем знаменитом казино в качестве стриптизерок. Ему можно было все. Он спон-

сировал премьеру, и Камерный театр классического балета им. Агриппины Вагановой существовал на его деньги. Он здесь был полновластным хозяином, барином среди крепостных артистов.

Кате ужасно не хотелось выходить в банкетный зал, даже на несколько минут. Каждый раз после спектакля она запиралась в своей маленькой грим-уборной совершенно одна. В театре все знали эту ее привычку, после обычных спектаклей солистку никто не трогал. Но сегодня все-таки премьера. В дверь без конца стучали.

Она нарочно долго снимала грим, стояла под горячим душем, одевалась, потом просто сидела в кресле, закрыв глаза. Мышцы ныли и гудели как провода под током. Тело еще переживало, повторяло каждое па. Леди Макбет неслась, крутилась в смертельном пируэте. Казалось, с тонких белых пальцев капает кровь. Невесомая леди, ангел смерти... Катя танцевала так, что зритель почти любил убийцу, любовался ею, понимал, оправдывал, а потом, спохватившись, удивлялся самому себе и, возможно, открывал нечто новое и важное в своей душе.

Господи, неужели получилось? Был красивый балет, остальное не имеет значения. В голове уже вертелись всякие глупости: Глеб напился и скандалит, в дверь стучат, радиотелефон надрывается на примерном столике. Все. Надо идти. Никуда не денешься.

Катя открыла глаза и взглянула в зеркало. Она давно заметила, что после каждого спектакля лицо становится немного другим. Нечто новое появляется в глазах, в линии рта. С каждой своей героиней она проживает целую жизнь, от рождения до смерти. Только что она умерла вместе с кровавой леди Макбет, и теперь надо родиться заново, стать собой, Екатериной Филипповной Орловой, усталой тридцатилетней женщиной с натруженными балетными мышцами.

Выходить в банкетный зал без всякого макияжа нехорошо. Защелкают фотовспышки, потом в каком-нибудь журнальчике появится разворот с фотографией бледно-зеленой, измотанной, ненакрашенной примы. А рядом будет Глеб: пьяный, красный, со съехавшим набок галстуком, с шальными глазами и двусмысленной ухмылочкой на мокрых губах. Вот она, сиятельная чета, слив-

ки московской богемы, любуйтесь, господа! И нечего им завидовать. Прима-балерина только из мрака зрительного зала кажется сказочной красавицей. На самом деле, оттанцевав премьеру, она выглядит старше своих тридцати, у нее темные тени под глазами, уставшая от грима кожа, бледные губы, острые ключицы, у нее муж хам, скандалист, почти алкоголик, детей нет и, наверное, уже не будет...

Катя расчесала длинные каштановые волосы, скрутила их тугим узлом на затылке. Опять затрещал телефон, она вздрогнула и больно царапнула шпилькой шею.

— Он тебя совсем не любит, — услышала она хриплый шепот в трубке, — тебе лучше самой уйти, пока не поздно...

Катя нажала кнопку отбоя, отбросила телефон, словно ее ударило током. Аппарат скользнул по стеклянной поверхности грифельного столика, сшиб на пол большую бутылку лосьона и банку с тальком.

Еще две недели назад, когда первый такой звонок разбудил Катю в восемь утра, она жестко сказала себе: не дергайся, не обращай внимания. Если ты прима, солистка, если у тебя богатый муж, пятикомнатная квартира, дом на Крите, две машины и много всякого другого добра, всегда найдутся желающие обидеть и напугать. Тогда, в первый раз, хриплый женский шепот прозвучал:

— Сегодня на спектакле ты, сушеная Жизель, сломаешь ногу. Потом сразу — гудки отбоя.

Сделав смертельное усилие, Катя улыбнулась своему бледному отражению. Немного губной помады, тонкий слой пудры, несколько капель духов. И никакой паники. Та, которая звонит, чувствует себя значительно хуже, чем Катя. Пусть она, телефонная шептунья, паникует, сходит с ума. А Кате ничего не страшно. Она станцевала сегодня леди Макбет.

Катя встала, оглядела себя в огромном зеркале. Гладкая юбка из тонкой черной кожи, простой кашемировый пуловер цвета топленого молока, черные туфли-лодочки на среднем каблучке. Пожалуй, слишком строго и буднично, но она не собирается застревать на фуршете. Она устала и хочет спать.

— Катюха! — завопил Глеб, увидев ее в банкетном зале. — Радость моя, рыбонька, ну иди сюда, я тебя поцелую!

Он шел к ней пошатываясь, растопырив руки. Толпа расступалась, на лицах Катя замечала тактичное равнодушие, мягкие усмешки. Кто-то отворачивался, делая вид, будто ничего не происходит. Кто-то смотрел на Катю с искренним сочувствием. Фото вспышки слепили глаза. Глеб Калашников наступил на ногу пожилой даме-музыковеду, дама вскрикнула, шарахнулась в сторону, высокая ваза с фруктами рухнула на пол. Яркие апельсины и яблоки запрыгали по паркету, как теннисные мячики.

Катю поздравляли, целовали, надежное плечо партнера, танцовщика Миши Кудимова, закрыло ее от чьей-то наглой видеокамеры.

— Все отлично, Катюша, мы с тобой молодцы. Я уже сматываюсь, сил нет... Вот этого репортеришку с серьгой надо вывести отсюда, подожди, я сейчас.

Миша шагнул к громиле-охраннику, который со скупающим видом стоял в дверях, что-то быстро шепнул. Охранник подхватил под руку бесполое существо в кружевном лимонно-желтом пиджаке, с громадным фальшивым бриллиантом в ухе. Катя узнала его, это был один из самых скандальных тележурналистов Москвы. Именно он только что упирал свою видеокамеру Кате прямо в нос, пытаясь выбрать план побезобразней.

«Он снимает рок-звезд, зачем ему классический балет?» — подумала Катя, провожая взглядом лимонный пиджак.

Через полчаса ей удалось усадить Глеба в машину. А еще через двадцать минут Катин белый «Форд» подъехал к дому в тихом переулке неподалеку от проспекта Мира.

Прихватив несколько букетов с заднего сиденья, они направились к подъезду. Глеб шел на заплетающихся ногах и напелал все тот же дурацкий шлягер. Споткнувшись, он обрушился на жену и повис на ней всей своей пьяной тяжестью. Кате едва удалось подхватить его и удержаться на ногах. Букеты крупных роз с целофановым шелестом посыпались на асфальт. И в этот момент раздался негромкий выстрел. Сверху, на третьем этаже, в темном распахнутом настезь окне мягко качнулась светлая занавеска.



Народный артист России, лауреат Ленинской премии за выдающиеся заслуги в советском киноискусстве, лауреат «Оскара» за лучшую мужскую роль в нашумевшем фильме 1989 года «Задворки империи», депутат Государственной думы, профессор Константин Иванович Калашников сидел в кафе на площади Сан-Мишель и прихлебывал кофе с молоком маленькими глотками. Каждый раз, прилетая в Париж, он обязательно заходил в это кафе.

Когда-то давно, в счастливом шестьдесят четвертом году, худой узколицый Костя Калашников играл белого офицера в фильме о Гражданской войне, скакал на коне по степи, красиво умирал от удара красноармейской сабли. Вечерами после съемок в дрянной гостинице маленького степного городка читал запоем Хемингуэя. В дикой казахской степи было приятно читать о Париже. Париж состоял из сиреневой дымки и бесчисленных маленьких кафе. В гостиничном буфете кормили хлебными котлетами и сухой желтой пшеницей.

В шестьдесят четвертом артисту кино Константину Калашникову по паспорту было двадцать пять, на вид — не больше двадцати, а чувствовал он себя на восемнадцать. Эта странная арифметика создавала иллюзию, будто время может двигаться вспять, и дарила робкую надежду на бессмертие. Он читал Хемингуэя и мысленно шел по Парижу, вскидывая молодое породистое лицо навстречу нежному туману Монмартра.

В соседнем номере, за тонкой гостиничной стенкой, актриса Надя Лучникова напевала песню молодого, категорически запрещенного Александра Галича: «Облака плывут в Абакан...» Надя играла красную партизанку. В фильме Костя ее допрашивал, грязно приставал, она отвешивала ему звонкую партизанскую пощечину. Потом ее расстреливали, Костя-белогвардеец командовал «Пли!» и играл лицом сложные чувства: смесь классовой ненависти и тайной безнадежной влюбленности.

Глубокой ночью Костя перебирался в номер к Наде, ее соседка, помощник режиссера Галочка, перебиралась в номер к опера-

тору Славе, а сосед Славы, молоденький осветитель Володя, уходил спать в степной городок, к одинокой библиотекарше.

Панцирные гостиничные койки неприлично скрипели, но этого никто не слышал. На рассвете по бледному небу плыли палевые степные облака. Надя Лучникова расчесывала перед открытым окном длинные пепельно-русые волосы, втягивала холодный горьковатый воздух тонкими ноздрями и опять напевала Галича. Облака поворачивали с востока на запад и плыли к Парижу, сливались с нежной акварельной дымкой, пропитывались запахом кофе и духов.

У Нади был маленький флакон «Шанели №5». Потом многие годы этот тяжеловатый сладкий аромат напоминал Косте вовсе не Париж, а казахскую степь и грязную гостиницу со скрипучими койками.

Через полгода они с Надей скромно расписались. Она была на шестом месяце, живот заметно выпирал, и тетка в загсе смотрела на них неодобрительно.

Сына назвали Глебом.

Знаменитая фотография Хемингуэя — мужественное лицо, борода, высокий грубый ворот свитера — висела в московской квартире над тахтой, покрытой клетчатым пледом. Кроме тахты, пледа и этой фотографии у них с Надей не было почти никакого имущества.

Через год Костю Калашникова пригласили сыграть Феликса Дзержинского. Потом ему поручили читать приветственные стихи на партийном съезде. Еще через год он стал заслуженным артистом, работал в одном из лучших театров Москвы, без конца снимался.

Квартира обростала мебелью, Костя обростал здоровым жирком. Надя больше не снималась, варила диетические низкокалорийные супчики, терла морковку, растила Глеба.

В конце семидесятых Костя Калашников попал в Париж. Ему доверили играть Ленина. Он вовсе не был похож на пролетарского вождя, однако для партийного режиссера, работавшего в традициях социалистического реализма, это не имело значения.

Вождь в исполнении Калашникова получился высоким элегантным интеллектуалом.

Париж действительно состоял из акварельной дымки и маленьких кафе. Костя прошел по всем закоулкам, о которых мечтал, читая Хемингуэя, и к нему вернулись его восемнадцать лет. Время двинулось вспять, запахло вечностью. Он сидел в кафе на площади Сан-Мишель и смотрел в огромные, дымчато-голубые глаза Шурочки Львовой. Шурочка была последним отпрыском старинного княжеского рода, многие считали ее самой красивой и изысканной актрисой России. В фильме о Ленине она играла Инессу Арманд.

Вернувшись домой. Костя развелся с Надей и женился на Шурочке. Ровно год дымчато-голубые глаза княжны глядели только на него. Они с Шурочкой снялись вместе в телевизионной двухсерийной лирической комедии, прославились еще больше.

Однако к следующей весне у Кости начался гастрит. Княжна, кроме сосисок, ничего варить не умела. К гастриту прибавилось нервное переутомление. Костя вдруг обнаружил, что жизнь состоит из миллиона отвратительных бытовых мелочей. Эти мелочи, словно тучи таежной мошки, набрасывались, сосали горячую Костину кровь, больно вгрызались в тонкую артистическую душу.

Собираясь утром в театр на репетицию, укладывая чемодан перед гастрольной поездкой, он не мог найти ни одного чистого носка, на рубашках не хватало пуговиц, свитера и брюки были распаханы безобразными комьями по полкам стенного шкафа вперемешку с лифчиками и колготками княжны.

Костя затосковал по Надиной тертой морковке и диетическим супчикам. Княжна, в свою очередь, успела соскучиться по предыдущему мужу, главному редактору крупной партийной газеты. Она была не менее талантлива и знаменита, чем Костя, бытовые мелочи тоже ранили ее тонкую душу. А главный редактор хоть и был человеком скучным, номенклатурным, зато его общественное положение и доходы позволяли иметь домработницу.

Как известно, «служенье муз не терпит суеты». За того, кто служит музам, суету должен терпеть кто-то другой. Костя Калашников вернулся к своей терпеливой Наде вовремя. Гастрит не

успел стать хроническим, нервное переутомление не перешло в тяжелую депрессию, ни талант, ни здоровье не пострадали. Костя Калашников помолодел, похудел, его рубашки сверкали чистотой. Ровесница Надя выглядела рядом с ним как пожилая интеллигентная тетушка рядом с балованным обожаемым племянником.

Калашникову пришлось сыграть Дзержинского, Ленина, Фрунзе и даже молодого Брежнева. Но, к счастью, не только их. Он вовсе не был «придворным лицедеем». Партийно-положительные герои служили для него чем-то вроде индulgенций. Образами обаятельных умных коммунистов Калашников зарабатывал себе право сниматься у опальных режиссеров, отпускать двусмысленные остроты публично, со сцены, иметь в домашней библиотеке запрещенные советской цензурой книги, колесить по миру. Его искренними поклонниками были многие крупные чиновники ЦК, а также их жены, тещи, свояки. Он умел рассмешить до упада и заставить плакать любого, даже самого тупого и замшелого кремлевского старца.

Иногда ему удавалось улаживать проблемы своих менее удачливых коллег, добиваться, чтобы какой-нибудь «идеологически чуждый» фильм был снят с полки и прокручен хотя бы вторым или третьим экраном, то есть показан в нескольких небольших окраинных кинотеатрах. Впрочем, в благородном заступничестве он всегда соблюдал меру. Когда чувствовал, что «замолвить словечко» неуместно и опасно, предпочитал промолчать.

Его приглашали на закрытые правительственные банкеты, он представлял советскую культуру за границей, был завсегда-таем дипломатических приемов. С возрастом талант и обаяние не убывали.

А сын Глеб жил своей веселой и сложной подростковой жизнью, устраивал вечеринки с картами и красивыми девочками, умел смешно рассказывать анекдоты, отлично разбирался в марках машин и мог с закрытыми глазами отличить настоящие американские джинсы от польской подделки.

Учился он плохо, однако лень и шалости Калашникова-младшего прощались и забывались сами собой, стоило Константину Ивановичу появиться в школе, улыбнуться нескольким учитель-